

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“ДНЕВНИК
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ”

* * *

Помню, как в один из послевоенных дней, когда мне исполнилось уже лет тринадцать-четырнадцать, я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила Исаковского “Летят перелётные птицы”... Она поразила меня, я запомнил её сразу, уходя в школу, — а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу, — пел её про себя, повторял, бормотал. Отчётливо помню, как в один из осенних вечеров, глядя в холодное небо над Окой, в котором кружились перед отлётом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в осеннее пространство: “Желанья свои и надежды // Связал я навеки с тобой, // С твоею суровой и ясной, // С твоею завидной судьбой”. Да с таким чувством выдохнул, что горло перехватило и слёзы на глаза навернулись.

Наверное, моё неприятие “ихней” эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни “Тёмных аллея”, ни “Деревни”, ни “Жизни Арсеньева”, а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходившие из-под перьев гладилиных, аксёновых, синявских. И всё-таки я старался понять этих людей тоже, но всё закончилось стихотворением разрыва:

*И вас без нас и нас без вас забудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно — да будет.
Вам есть где жить,
а нам — где умирать.*

Как писала Ахматова в стихотворении “Родная земля”: “Но ложимся в неё и становимся ею, оттого и зовём так свободно — своею”.

* * *

В “застойные” времена я, в отличие от диссидентствующих шестидесятников, рвавшихся на Запад, частенько “иммигрировал” в свою страну, в СССР. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил среди хребтов Тянь-Шаня и долин Гиссара, среди вечных льдов и альпийских лугов, среди громокипящих голубых рек, рычащих бурных селевых потоков, среди бедных, но полных достоинства и трогательных в своём гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков, среди орущей, мускулистой, загорелой, но жалеющей себя ни в работе, ни в гульбе геологической, студенческой, шофёрской вольницы...

А иногда я месяцами пропадал в эвенкийской тайге, добираясь до крайних северов на “аннушках”, на “вертушках”, разглядывая в иллюминаторы дикие просторы – сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, чёрные реки, медленными змеями впадающие в Угрюм-реку – Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло зимовье рядом с двумя берёзами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед – Роман Иванович Фарков, два кобеля – Рыжий и Музгар. Мы обнимались, от деда терпко пахло ондатровыми шкурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовьюшку, где на столе уже дымилась уха, поблёскивали в миске мороженые сижки да хариусы. И начинались наши бесконечные разговоры о жизни, об охоте, о детях и внуках.

Каждый день с утра мы бороздили тайгу по аргишам и путикам, задыхаясь, мчались на лыжах к далёким лиственницам, куда наши кобели с лаем загоняли царственных соболей. А в иные дни красными, словно варёные раки, руками трясли на озёрах сетки, вытряхивали на лёд серебряных карасей и снова опускали снасти в лунки, заполненные тёмной, тяжёлой водой.

А вечерами – долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы – в зимовье текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской жизни в 20–30-е годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, в котором побывал дед... Обо всей громадной нашей жизни мы толковали в стареньком зимовье с раскалённой печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов – от пятидесятиградусного мороза лопались на берегу калтуса берёзы.

...А в другие времена я уезжал на чёрную ледниковую реку Мегру, шумно впадающую в Белое море, подымался с местными ребятами на карбасе к её истокам, ловил сёмгу, жил в палатках либо под исполинскими шатровыми, не промокающими во время дождей елями, слушал и запоминал бесконечные рассказы о том, как их предки добирались сюда по Мезени и Пинеге, как ставили в устьях рек поморские деревушки, рубили из листвяка церкви, как через их деревни бежали беглые мужики, которыми были тогда наводнены архангельские пристани, – их отправляли на Соловки. Но кто смел да удал – уходил из-под вохровских взглядов навстречь солнцу, на Восток, добрал до деревень Майда, Мегра, Ручьи, где поморы советовали скитальцам: идите по рекам на юг, в старушечьи скиты. Но и там их находили энкавэдешники, а скиты рушили огнём, как во времена Аввакума опричники Алексея Михайловича.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... А гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина Носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озёрами. А самих птиц не видно в тёмном сентябрьском пространстве, пока извилистый клин не попадёт в струю дрожащего зеленовато-лилового сполоха... Чёрные трёхметровые обетные кресты, поставленные на краю обрыва, под которым шумит река, словно врезаны в тусклое северное небо...

* * *

В начале третьего тысячелетия я участвовал в избирательной кампании Сергея Глазьева. Борьба шла за должность губернатора Красноярского края. Приехали мы в штатный городок Лесосибирск. Выступили несколько раз, а вечером хозяева повезли нас поужинать в лучшую, как они сказали, закусочную города. Накормили по-русски – местной рыбой, борщом, пельменями. Но когда мы выходили из этой закусочной, я оглянулся, прочитал горящее неоновыми буквами её название: “Оклахома” – и обалдел. Вот тогда я понял, что Глазьев, который, выступая, часто говорил о современном геноциде русского народа, выборы не выиграет.

С той поры “Оклахома” стала для меня символом нашего самооплевания, нашего лакейства и холуйства. Приедешь в любой древний русский город – Калугу, Рязань, Воронеж, – идёшь по центральной улице, магазины, рестораны, фирмы и читаешь: “Клондайк”, “Эльдорадо”, “Аляска”, “Миссисипи”... Словом, сплошная Оклахома. И “Москва-Сити” – тоже Оклахома, и “кофе-хаус” вместо тёплого слова “кофейня” – тоже Оклахома... А недавно, проезжая Рязань, я увидел совершенно запредельную алую неоновую надпись: “Секс-хаус”. На фоне такой “оклахомы” точный перевод “секс-хауса” как “публичного дома” воспринимается даже как нечто своё, родное, отечественное.

В настоящее время практика писать диктанты у нас сохранилась. Правда, это один диктант на всю страну и называется он “тотальным”. Видимо, потому, что произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Бунина и других классиков “тотально” изгнаны из употребления.

В сентябре месяце 2016 года жители Ульяновска переизбрали на второй срок губернатора Морозова, того самого, который запретил 3 или 4 года тому назад в своей области использовать для диктанта текст из произведения русскоязычной писательницы Дины Рубиной, живущей в Израиле. Как возмутились тогда жюльнаристы из “Новой газеты”, из “Эха Москвы”: “Вы за это поплатитесь!” — взывал один из них (кажется, Ганапольский), обращаясь к Морозову.

А всё дело заключалось в том, что Дина Рубина в своих творениях часто балуется “матерком”; “Я отношусь к мату, как литератор”, — пишет она и подкрепляет свою мысль такими “детскими” стихами:

— *Здравствуй, дедушка Мороз,
борода из ваты.
Ты подарки нам принёс,
Пидорас проклятый?
— Я подарки не принёс,
денег не хватило.
Что же ты сюда приполз,
ватное мудило?*

Это самые “щадящие” наш слух примеры из “эпохального” романа Дины Рубиной “Вот идёт мессия!”

Рубина получила три премии “Большая книга”, во многих интервью признавала себя еврейским писателем, но зачем нам, обладателям прозы Распутина, Астафьева, Белова, Личутина, Лихоносова, выбирать тексты для тотального диктанта из романов вульгарной еврейской матершинницы?

Об убийце Пушкина Лермонтов писал: “Смеясь, он дерзко презирал // Земли чужой язык и нравы...”. “Нравы” — это обычаи, это вера, это традиции, это совесть. И всё это выражается в языке. Вот почему русский язык — одна из самых необходимых скреп русского мира.

Я помню наши диктанты и наши изложения (была такая форма учёбы — учитель читал текст, а ученики, каждый по-своему, излагали его на бумаге). Тексты диктантов и страницы изложений обязательно брались из нашей великой классики — из “Капитанской дочки”, из “Тараса Бульбы”, из “Записок охотника”, из “Обломова”. Это одновременно было изучением и русского языка, и русской литературы, и русской истории, и русского Православия, и вообще русской жизни.

Послевоенное радио добавляло к этим знаниям русские народные песни (“Степь да степь кругом”, “Раскинулось море широко”, “Коробейники”, “Есть на Волге утёс”), добавляло русскую музыкальную классику — арии из опер (“Князь Игорь”, “Евгений Онегин”, “Садко”). А сколько мировой классики вливалось в наши души из чёрных репродукторов! Верди, Бизе, Бетховен, Гунно, Штраус... Какой там “железный занавес”!

Всё великое, талантливое, доброе, человеческое входило в наш русский мир. Ворота были открыты. Неаполитанские песни, украинские песни, французские песни, южноамериканские песни — всё было нашим общим достоянием. Да, русская элита XIX века увлекалась французским языком, но Пушкин одновременно учился русскому языку у народа, у Арины Родионовны, у дворовых крестьян, иначе он не написал бы: “Что за прелесть наши песни и сказки!” Элита была, конечно, “офранцузена”. Пушкин это понимал, когда писал о своей любимой героине Татьяне: “Она по-русски плохо знала, // Журналов наших не читала, // И выражалась с трудом // На языке своём родном”.

Но! “Татьяна, русская душою, // Сама не зная, почему, // С её холодною красою // Любила русскую зиму”. Душа важнее языка. Татьяна, в сущности, родная сестра Наташи Ростовской, русскость которой Толстой гениально выразил в её пляске под дядюшкину гитару. Пушкин шутил, любя: “Как уст

румяных без улыбки, // Без грамматической ошибки // Я русской речи не люблю". Но это другое дело!

Литературный язык в пушкинское время ещё не устоялся. К тому же гениям позволено гораздо больше, нежели русскоязычным наглым ремесленникам: *"Не ругайтесь! Такое дело! Не торговец я на слова", "Словно кто-то к родине отвык"*. Так писал Есенин – хозяин русского языка. А кто такая Рубина? Мелкая полуграмотная пакостница...

* * *

Когда наши "витии" из "пятой колонны" негодуют, что советская власть во время войны отправила в ссылку множество народов – крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей, турок-месхетинцев, – я вспоминаю о том, что Борис Раушенбах, великий учёный в сфере космонавтики, вспомнил в одном из интервью, как американцы, на землю которых не ступила ни одна нога иноземного захватчика, устроили на своей территории концлагерь для искони живущих в Америке японцев; что Черчилль организовал лагерные поселения для евреев, сбежавших в Англию от Гитлера с европейского континента, не без оснований думая, что среди них могут быть лазутчики, работающие на фашистскую Германию; что американцы в 1938 году не разрешили немецким евреям, приплывшим в Америку на пароходе "Сент-Луис", сойти на берег США, и несчастным пришлось возвратиться в Европу, где их ждали Освенцим и Дахау. Когда же корреспондентка спросила Бориса Раушенбаха:

– *Меня всегда удивляло, что Вы были противником распада Советского Союза. Вы же так много претерпели от этой системы, провели много лет в лагерях. Но потом нашли силы в себе, чтобы простить,* – Раушенбах ответил:

– А чего прощать-то? Я никогда не чувствовал себя обиженным, считая, что посадили меня совершенно правильно. Это был всё-таки не 37-й год, причины которого совершенно иные. Шла война с Германией. Я был немцем. Потом в лагерях оказались крымские татары, чеченцы... Правда, те же татары во время оккупации Крыма всё-таки работали на фашистов. Это некрасиво. Среди же немцев если и были предатели, то полпроцента или даже меньше. Но попробуй их выявить в условиях войны, проще всех отправить в лагерь: колючая проволока, нас плохо кормили, люди умирали десятками в день... Тогда в Москве спохватились: дескать, если так дело пойдёт, то кто же будет строить дамбу? Стали кормить лучше. Что говорить, было очень плохо, но в условиях войны власть приняла совершенно правильное решение".

* * *

В декабрьском номере журнала "Знамя" №3 за 2010 год вышли "Записки из-под полы" бывшего министра культуры России Е. Сидорова (он же побывал и депутатом Госдумы, и послом России при ЮНЕСКО, и ректором Литинститута). Словом, матёрый бюрократ от культуры. О кровавом государственном перевороте 4 октября 1993 года он пишет, как о каком-то пустяке: *"Всё нормально, немного постреляли, немножко поубивали"*. О своей жене – дочери главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Вере Индурской – пишет с восхищением: *"Моя жена рвалась на баррикады к Гайдари. Мы находились в пансионате под Майкопом. Стоял душный вечер 3 октября 1993 года. Долететь до Егора у Моссовета можно было только на крыльях..."*

"Я знал его отца, Тимура Аркадьевича", спецора "Правды" в Белграде, дух ревизионизма исподволь накапливался в этой семье".

Восхваляя демократов ельцинской эпохи – В. Шумейко, Е. Гайдара, В. Евтушенкова, Ю. Карякина, А. Битова и многих других персонажей "Великой криминальной революции" (по словам Говорухина), – Сидоров в качестве главного "контрреволюционера" выставляет меня, вспомнив о моём участии в дискуссии "Классика и мы" и письме в ЦК КПСС по поводу "Метрополя": *"Время как бы поворачивалось вспять, в эпоху борьбы с космополитизмом", "Я не верю в истовость Куняева; в его русофильские экстазы", "Я принадлежу к тихо любящим Россию", "Еврейский вопрос погубил русского поэта Станислава Куняева"* и т. д.

Придётся послать Евгению Сидорову мою книгу “Жрецы и жертвы Холокоста” которая за 5 лет выдержала уже 3 издания. Авось прочтает, разберётся в русско-еврейском вопросе и кое-что поймёт.

Я узнал о сидоровских “Записках из-под полы”, получив письмо от читателя Валерия Скрипко из далёкого Минусинска. Своё письмо, отправленное в “Наш современник”, Скрипко назвал “Синдром Фарисея”. Вот отрывок этого письма: “Автор “мемуаров” не так давно был министром культуры России, уж ему ли не знать, что сейчас времена гораздо хуже времён нашествия Мамаёв! Пугающее польской интервенции. Стоит только почитать обзоры “периодики” в журнале “Новый мир”, чтобы убедиться: авторы, близкие “мемуаристу” по своим взглядам, прямо говорят о кризисе в российском обществе. Вот отрывок из интервью с Павлом Крусановым: “Лев Гумилёв в восьмидесятые утешительно обещал России, исполнившей, по его представлению, провиденциальную задачу, двести лет Золотой осени. Однако реальность предлагает нам нечто куда менее поэтично – пепелище, гниище, деградацию притязаний во всех областях жизни, разобщение, апатию, девальвацию, простите за пафос, нравственных и культурных ценностей, торжество корысти и тугое, неодолимое неприятие идеи бескорыстного служения”.

Скажите, уважаемый бывший министр, как из всего этого выйти, если молчком носить “у сердца” любовь к России? Да ладно бы Вы ограничивались только тайной любовью. Так хуже другое: стоит кому-то взволнованно и открыто заявить о русской теме, как у “тихо любящих Россию” вдруг появляется и “истовость”, и “космополитический экстаз”. И у Вас, у Вас, по определению государственного человека, он проявился... тоже!”

Проявился этот “космополитический экстаз” и у Сергея Чупринина, в чьём журнале “Знамя” были опубликованы мемуары Е. Сидорова.

В июне 2011 года Чупринин приехал в город Пермь на книжную выставку. Читатели окружили его и стали расспрашивать про “Журнальный зал” – электронную версию русской журналистики.

Поэт Юрий Беликов спросил Чупринина, почему в “Журнальном зале” есть “Знамя”, “Новый мир”, “Октябрь” и нету “Нашего современника”.

– Мы могли бы принять в “Журнальный зал” “Наш современник”, если его главный редактор Станислав Куняев даст честное слово не употреблять на страницах своего издания слово “жид”.

После этого я был вынужден послать Сергею Чупринину (когда-то написавшему весьма вдохновенное предисловие к книге моих “Избранных стихотворений”) следующее послание:

Сергей Иванович!

Вы несправедливо обвинили меня в том, что я на страницах “НС” употребляю слово “жид”, о чём Вы сообщили пермской газете. На самом деле, если это слово и присутствует в публикациях журнала, то лишь в цитатах из Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, Есенина и прочих великих людей мира сего. Я же, грешный, ни в коей мере не осмеливаюсь подражать им, о чём свидетельствует и моя новая книга, которую я Вам дарю с искренним простодушием и надеждой на понимание. Ваш Ст. Куняев.

1. 11. 2011

* * *

В молодые годы, когда я, словно очарованный странник, бродяжничал по необозримым просторам великой страны, меня занесло на несколько полевых сезонов в горы Тянь-Шаня в составе геологоразведочной партии, которой руководил мой друг Эрнст Портнягин. Мы уходили с ним в маршруты, иногда пешие, иногда на лошадях, пробирались по канатным тропам и прижимам вдоль извилистых, кипящих водопадами вспененных рек, выламывали геологическими молотками образцы нужной нам породы, а во время передышек кипятили в железных кружках крепкий чай. Жарили на ивовых ветках золотистых форелей, пойманных мною в голубых струях Варзоба или Кафирнигана, а к вечеру возвращались в палаточный лагерь, обременённые рюкзаками с горной породой, с её загадочной флорой и фауной.

Однажды после одного такого маршрута я при свете свечи в нашей тёмно-синей командирской палатке написал стихотворение, посвящённое Эрнсту, которое заканчивалось так:

*Послушай! В мире высоты
немного проку исподлобья
глядеть, как будто ищешь ты
хороший камень для надгробья.*

*Нам надо жить и понимать,
что в мир вступают наши дети,
и нищим надо подавать,
покамест есть они на свете.*

К сожалению, стихотворение действительно стало пророческим, потому что через два года после этого полевого сезона Эрнст трагически погиб во время одного из таких маршрутов. А меня в этот раз рядом с ним не было. Но стихотворение стало пророческим ещё и потому, что с той поры я не мог равнодушно проходить мимо нищих, просящих милостыню. Как бы я ни уверял себя, что в наше время нищие – это особая каста, что у них есть свои надсмотрщики и своя иерархия, что женщины, сидящие на тротуаре, могут держать на руках не своего, а чужого ребёнка, чтобы разжалобить прохожих, что безногие и безрукие инвалиды на досках с колёсиками работают не просто на себя, но обогащают “авторитетов” нищенской мафии... Ничего не помогало. Я вспоминал свою строчку, как некий религиозный обет, как некую клятву, данную мной покойному другу: **“и нищим надо подавать”**, – и моя рука невольно тянулась к карману в поисках подаяния.

А если мелочи не было под рукой, только бумажки – ну, не самые крупные, – я подавал их в ладонь просящего, опуская в кружку или в шапку, лежащую на асфальте, рядом с которой сидел безногий афганец.

Вот так... Не стихи служат нам, а мы служим стихам, и прав, конечно, мой покойный друг Николай Рубцов, написавший о сверхъестественной силе поэзии: *“И не она от нас зависит, // А мы зависим от неё”*. Да, *“нищим надо подавать, // покамест есть они на свете”*. А они на свете будут вечно... Слово не воробей, вылетит – не поймаешь... Написано пером – не вырубишь топором...

* * *

Есть у меня три заветные книги, которые я взял бы с собой хоть в полёт на Марс, хоть на необитаемый остров: “Капитанская дочка”, “Тарас Бульба” и “Записки охотника”. А в “Записках охотника” самый волнующий рассказ – “Певцы”. О том, как две русские музыкальные стихии: одна – лихая, плясовая, забубённая, а другая – печальная, горестная, трагическая – пытаются овладеть душами молодых, подпивших зелена вина крестьян. И совсем уже было праздновала победу плясовая, исполненная то ли коробейником, то ли рядчиком, но когда худой, болезненный, до сих пор молчавший его соперник вдруг выдохнул *“Не одна во поле дороженька пролегла”*, то защемили сердца у всех только что плясавших и аплодировавших, потупились взоры, навернулись слёзы на глаза, как будто вспомнили они самих себя и всю судьбу свою несуразную...

А вечером, когда Иван Тургенев уходил по траве-мураве из села, он услышал ребячий крик, долетевший с угора, где стояло село, до лесной болотистой низины: – Антропка! – а! – а! А снизу голос неведомого Антропки лениво ответил из тумана: – Чего надо!

– Иди домой! – радостно взметнулся голос с угора. – Зачем? – полетел к угору голос Антропки. И тут голос антропкиного собеседника зазвучал с особым торжеством:

– Тебя тятка высечь хочет!

Вот она, вся история человечества! Блудный сын Антропка, сбжавший от тяжёлой отцовской длани, и его брат, готовый помогать отцу в экзекуции над согрешившим сыном. Каин и Авель...

Словно два певца: один – ухарь-купец, другой – с надтреснутым глухим тенором. Один хочет воли, другой – справедливой отцовской выволочки над согрешившим братом...

* * *

31 марта 2014 года ведущая канала “Россия-24” Эвелина Закамская в беседе с Александром Прохановым обронила фразу, что Холокост приближали сами евреи. Журналистку с канала уволили, а злополучная цитата из эфира разошлась по всему интернету. Редакция “Россия-24” обратилась ко мне с вопросом, что же такое “религия Холокоста” и почему эта тема табуирована. Я так ответил на этот вопрос:

– Понятие “религия Холокоста” сложилось в середине 60-х. Израилю был нужен культ явления, которое было названо “Холокостом”. Континенты стали покрываться музеями Холокоста, на экраны вышли десятки кинокартин, посвящённых этой теме. Заработала громадная пропагандистская машина, смысл которой содержался в афоризме: “Увенчается ли наше стремление к новому миропорядку успехом, зависит от того, выучим ли мы уроки Холокоста”.

Возможность нового мирового порядка ставили в зависимость от того, будет ли воспринят культ Холокоста. И это произошло: в Америке нет ни одного штата, в котором не существовало бы музея Холокоста. Постепенно Холокост обрёл религиозные черты. Подкладкой стала идея, что христианство в кризисе, Голгофская жертва Христа бессмысленна. Её место в современном мире заняла шестимиллионная жертва еврейского народа. Поэтому музеи Холокоста – это храмы новой религии.

Для того чтобы создать государство Израиль, нужно было большое число иммигрантов, однако евреи-сефарды после Первой мировой войны не желали покидать насиженные места. Идея возврата на прародину терпела полный крах. И тогда будущий президент Израиля Бен-Гурион предложил создавать отряды, которые будут терроризировать евреев и вынуждать их ехать в Палестину, а один из деятелей сионизма Хаим Вейцман произнёс страшные слова: “Я задаю вопрос: “Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину?” Я отвечаю: “Нет”. Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить”.

Старые – это ветви еврейского народа, которые недостойны жить в Израиле и не нужны Израилю, настолько они испорчены европейской жизнью. К тому времени Гитлер пришёл к власти, и взгляды сионистов обратились к нему. Сопратник Вейцмана Хаим Арлазоров подготовил договор с Гитлером, так называемое “Соглашение Хаавара”. Целью соглашения было оказание содействия в эмиграции евреев Германии в Палестину. Договор был подписан в августе 1933 года, но Арлазорова к тому времени уже убили, потому что его планы пришлись не по душе всем лидерам еврейства. Например, Владимир Жаботинский всячески клеймил такие планы о переселении на Восток. Однако памятники Арлазорову стоят чуть ли не на всех площадях крупных городов Израиля. В хааварском соглашении сплелись воедино замыслы нацистов, идеология Вейцмана и Бен-Гуриона. Потом выяснится, что полмиллиона венгерских евреев фактически при помощи своих вождей были отправлены в лагерь смерти, только “элитная” часть была спасена и отправлена в Швейцарию. Вот такой ценой целенаправленно создавалось государство Израиль. Об этом писали многие честные еврейские авторы: автор книги “Индустрия холокоста” Норман Финкельштейн; Ханна Арендт, заметившая, что все места, откуда отправлялись евреи на уничтожение, координировались представителями “еврейской улицы”.

Считается, что тема Холокоста сегодня неприкосновенна, как некая “священная корова”. Нельзя сомневаться в истории Холокоста о количестве жертв. Многие историки за это получали уголовные сроки, подвергались преследованию, изгонялись из профессиональной среды.

Нельзя не вспомнить Аллу Гербер, которая в конце перестройки раздувала слухи о том, что в СССР на евреев готовятся гонения. Говорят, потом она приехала в Израиль и заявила, что достойна самой высшей награды, так как

благодаря её деятельности на Ближний Восток переехало около одного миллиона евреев. В девяностые появилась масса статей, в которых, наоборот, писали, что нигде евреям не живётся так хорошо, как в России. Все слухи о погромах и гонениях утихли, как будто их никогда и не было.

* * *

Любопытно проанализировать, как в мировом сообществе изменяется отношение к неграм. Проблема “нетолерантная”, но не всегда она была такой.

Пушкин писал о своём происхождении: “потомок негров безобразный”.

В 90-е годы Маяковский увидел в неграх некий человеческий революционный потенциал:

*Да будь я негром преклонных годов,
и то б без унынья и лени
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.*

Чуть позже на советский экран вышел кинофильм “Цирк”, где одну из главных идеологических ролей играл негритянский ребёнок, над судьбой которого рыдали сентиментальные советские кинозрители. В годы перестройки этот ребёнок, ставший довольно известным советским поэтом Джимом Патерсоном, вернулся на родину предков. А Маяковский после посещения США не унимался:

*Белый ест ананас спелый,
Чёрный — гнилью мочёный;
белую работу делает белый,
чёрную работу — чёрный...*

В 60-м году ку-клукс-клан переживал предсмертные конвульсии. На арену борьбы чёрных за “права человека” вышли Мартин Лютер Кинг, Анджела Девис, Поль Робсон. И наконец-то дело освобождения рабов завершилось восхождением в Капитолий Обамы. Но это было последним успехом чёрной массы. Обама разочаровал всех.

А на фоне этого разочарования темнокожие студенты в подземных переходах Москвы стали, подрабатывая, раздавать прохожим различные рекламки, и мой сталинградский студент Василий Струж написал стихи:

*Россия наша обмелела.
Нас негры переходят вброд...*

А в Иркутске негр поёт в ресторане свои блюзы. И ничего в том удивительного нет, коли Путин дал какому-то негритянскому боксёру российское гражданство.

И всё-таки не будем забывать, что Есенин, приехав в Нью-Йорк и обалдев от одиночества, нашёл на задворках своей гостиницы какого-то негритянского бомжа, привёл его в свой номер, и два одиноких человека, каждый из которых был по-своему гоним на родине, устроили в гостинице небывалую для американских нравов пьянку.

Но изменились нравы не только в России. Кто бы мог подумать, что во время “революции Трампа” статуи отцов-создателей Соединённых Штатов и рабовладельцев по совместительству будут снесены в американских городах, подобно тому, как у нас “демократическая чернь” в 90-х годах сносила статуи Сталина и Дзержинского.

* * *

Разгром церковной жизни в 20-е годы, осуществлённый Лениным и его сообщниками, был подготовлен интеллигенцией. Это и есть “русский бунт, бессмысленный и беспощадный”. Это тот же самый есенинский безумный

крик: “Тело, Христово тело // Выплёвываю изо рта”; – это и рёв Маяковского, обращённый ко Всевышнему: “Я Тебя, пропахшего ладаном, // раскрою отсюда до Аляски”; это сокровенное сатанинское ахматовское “*поэтам вообще не пристали грехи*”; это цветаевское проклятие душе: “христианская немочь бледная! // Пар! Припарками обложить! // Да её никогда и не было! // Было тело, хотело жить...” Но, отдав должное бунту, Цветаева склоняется не перед часовой, а перед символом “русскости” – рябиной:

“Мне всё – равно, мне всё – едино. // Но, если по дороге – куст // Встаёт – особенно рябина...” И в этих строках её покаяние перед “христианскою немощью бледною”.

Есенин тоже принёс покаяние за свой бунт: “Чтоб за все за грехи мои тяжкие, // За неверие в благодать // Положили меня в русской рубашке // Под иконами умирать”... Выдох жизни спасает веру. У Бродского подобных выдыхов нет. Рождественские стихи Бродского – это всего лишь навсего умелые, но декоративные картинки, обрамляющие его религиозный скепсис. Стихи о “кровопийце” и “ворюге” – это всего лишь навсего отрицание высокого стиля, “величия замысла”, потому что большинство великих людей истории были, по Бродскому, “кровопийцами”.

Да и сам он, в отличие от Мандельштама, не очень хотел быть русским. Не потому ли в Америке он даже пытался писать стихи на английском языке?

* * *

Сегодня в России есть “Столыпинское общество”, и памятник ему поставлен, есть культ Столыпина, есть историки, убеждённые в том, что если бы Столыпин не был убит еврейским киллером, то он завершил бы свои реформы и никаких революций в 1917 году не было бы... А у меня перед глазами картина художника дореволюционной эпохи – забытого передвижника Сергея Иванова: хмурое небо, степная дорога, на дороге стоит телега, возле неё на земле лежит умерший мужик, на его груди икона, а вокруг него безутешная жена и малые дети. Название картины – “Смерть переселенца”...

Крестьяне центральной России не хотели переселяться в Сибирь, куда Макар телят не гонял. Они чувствовали, что, приехав в Сибирь за даровой землёй, в одиночку, став хуторянином или фермером, в одиночестве, в бездорожье не выживешь. Им нужна была земля в центральной России, но без выкупа. Крестьяне моей родной Калужской губернии рассуждали так: “Спокон веков у нас заведён обычай, что на новое место идёт старший брат, а младший остаётся на корню. Так пускай в Сибирь или на Алтай поедут наши старшие братья, господа помещики, дворяне и богатейшие земледельцы, а мы, младшие, хотим остаться на корню, здесь, в России”.

Костромские крестьяне обращались к дворянам-землевладельцам с таким предложением: “Если вы очень уж хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами. Вас меньше, а землю оставьте нам”.

Им вторили орловские мужики: “Переселяться на казённые свободные земли в среднеазиатские степи мы не желаем. Пусть переселяются туда помещики и заводят там образцовые хозяйства” (тексты писем взяты из книги А. Бушкова “Красный монарх”).

Но лучше и глубже всех об этом историческом споре писал митрополит Вениамин Федченков, во время гражданской войны – главный духовник армии Врангеля, сам происходивший из крестьянской семьи:

“Столыпину приписывалась будто бы гениальная спасительная идея так называемого хуторского хозяйства – это, по его мнению, должно было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян и пресечь таким образом революционное брожение... Тогда я жил в селе и отчётливо видел, что народ против. Хутора в народе проваливались”.

В нашей округе едва нашлось три-четыре семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло, оно было искусственное и ненормальное”.

Вспомним о том, как крестьяне села Константиново летом 1917 года готовятся к разговору с помещицей Анной Снегиной:

*Эй, вы!
Тараканье отродье!*

*Все к Снегиной!..
Р-раз и квас!
Даёшь, мол, твои уголья
Без всякого выкупа с нас!*

А когда вожак константиновских мужиков Оглоблин Прон вместе с Есениным ворвались в снегинский дом, то:

*Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю, без всяких слов.
“Отдай!.. —
Повторял он глухо. —
Не ноги ж тебе целовать!”*

Есенину, свидетелю революции, я верю больше, нежели функционерам из “Столыпинского общества”, недавно поставившим в Кремле памятник незадачливому автору крестьянской реформы.

* * *

Демагоги, радующиеся распаду Советского Союза, часто сравнивают этот распад с распадом Британской империи: вот она, мол, распалась, освободилась от заморских колоний и зажила на славу. Ну, во-первых, Англия распалась после того, как несколько веков вытягивала из этих колоний все соки. А во-вторых, это сравнение было бы убедительным, если бы не просто Британская империя распалась на Индию, Австралию, Новую Зеландию и множество азиатских и африканских государств, а именно Британские острова “развалились” на Уэльс, Ирландию, Шотландию и просто Англию. Вот тогда бы мы и посмотрели, как она, эта Англия, — зажила бы самостоятельной жизнью или постепенно превратилась бы в островную Швейцарию?

* * *

Поляки, проливая слёзы о Катыни, забывают о том, что многие советские красноармейцы, выжившие в польском плену после 1921 года (а выжило их только тысяч двадцать из восьмидесяти), стали кадровыми военнослужащими Красной армии и частей НКВД и узнали в 1939 году среди польских военнопленных офицеров и жандармов тех “осадников”, кто в 20-м году замучил и уморил в концлагерях несколько десятков тысяч их сотоварищей.

Не этого ли боялся великий польский поэт и лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош, когда писал:

*Не трогайте катынские могилы,
а то зашевелится пепел Едвабне и Освенцима,
закачаются еврейские надгробья Парчева,
Люблина и Кельцев,
и под ветром разгорятся угли Варшавского гетто!*

Для незнающих читателей напомним, что в местечке Едвабне в июле 1941 года поляки, пользуясь тем, что советские войска оставили городок, загнали в громадный сарай около двух тысяч местных евреев и сожгли их заживо, а в городах Парчев, Люблин и Кельцы еврейские погромы произошли в Польше уже после войны — в 1946-1947 годах.

“Признание — царица доказательств”, — говорил генеральный прокурор СССР Вышинский во время политических процессов 30-х годов... В эпоху перестройки демократы не раз высмеивали эту фразу Вышинского. Но в то же время Яковлев, Горбачёв, Ельцин и Шеварднадзе без доказательств “признали”, что польских военных в 1940 году расстреляло советское НКВД, и даже

Путин, посещая Польшу, дважды извинился перед поляками. Нет бы сначала прочитать записи из дневника Йозефа Геббельса, занимавшегося весной 1943 года изготовлением чудовищной провокации мирового масштаба.

Из дневника Йозефа Геббельса:

“17 апреля 1943 года.

Драма в Катини приобретает размеры гигантского политического события. И мы его используем по всем правилам искусства. Во всяком случае, эти десять или двенадцать тысяч убитых поляков, может быть, и заслужили это, поскольку были подстрекателями войны, тем не менее, теперь следует использовать их, чтобы ознакомить европейские народы с тем, что представляет большевизм”.

“8 мая 1943 года. К сожалению, в делах Катини найдены немецкие боеприпасы. В любом случае, необходимо держать эту находку в строгом секрете; если она станет известна нашим врагам, то катынское дело будет провалено”.

“Наши люди должны быть в Катини раньше, чтобы во время прибытия Красного Креста всё было подготовлено и чтобы при раскопках не натолкнуться бы на вещи, которые не соответствуют нашей линии”.

“29 сентября 1943 года. К сожалению, мы должны были оставить также и Катинь. Нельзя сомневаться, что большевики вскоре “откроют”, что это мы расстреляли двенадцать тысяч польских офицеров. Эта история, несомненно, позднее нам ещё доставит хлопот. Советы сделают так, чтобы раскопать определённое число могил и возложить впоследствии ответственность за это на нас”.

Об этих дневниках Геббельса польские историки молчат до сих пор и будут молчать вечно.

* * *

Эхо Москвы. Передача “Цена победы”. Размышляет шестидесятник, историк Андрей Зубов:

“Никакого единства партии и народа не было”. “Сталин отказался эвакуировать население Сталинграда”. <...> “При взятии Берлина можно было избежать 9/10 потерь. Советская власть лишила людей нормальной жизни и счастья”. “На вопрос, какой из двух тоталитаризмов хуже – ленинский или сталинский, – один ответ: оба хуже”.

Ну, каким орудием прихлопнуть эту научную моль – стихами Твардовского или Симонова? Нет, этих “государственников и сталинистов” существа из 5-й колонны не признают. Придётся обратиться к Высшему авторитету.

Вот как ответил бы “якобы историку” А. Зубову русский поэт и лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак:

“Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых труженников и простых бойцов, победил весь народ всеми своими силами, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями”.

* * *

Да, у Бродского имперское мировоззрение, у него, судя по стихам о Шевченко и Жукове, сильный саркастический ум, да, у него, говоря словами Мандельштама, тяга к “крупнозернистой жизни”, к “великим замыслам”. Он почти “государственник”, но это всё ещё не есть доказательства того, что он “русский национальный поэт”.

Да, он почти понял, что такое “русская жизнь”, когда попал в архангельскую ссылку, но Заболоцкий, или Павел Васильев, или Виктор Боков, или Твардовский знали, что такое “русская жизнь”, до всяких ссылок, потому что у них это знание было заложено в генах, а Бродскому для освоения подобного знания нужны были особенные, “искусственные” обстоятельства.

Бродскому, как и Мандельштаму, только в ссылке, только в неестественном и дополнительном общении с простонародьем удалось получить прививку русскости. Бродский в стихах о деревне лишь декларирует своё

понимание русскости, но при этом не живёт ею. Иначе он продолжал бы жить ею в Америке.

У Бродского имперская, но не русская душа, и с этим ничего невозможного сделать. Сравните его стихотворение “Пилигримы” и рубцовское “Старая дорога”, и всё станет ясно, как Божий день. Душа Агасфера у него обнаружилась не тогда, когда он уехал в Америку, а гораздо раньше, во время жизни в Питере в “полутора комнатах”. “На Васильевский остров // Я приду умирать...” Но Васильевский остров — это не Россия, это часть протестантского пространства.

В молодые годы (1960 или 1961) во время единственной встречи с Бродским я подарил поэту свою книжку “Метель заходит в город”, которая сейчас выставлена на стенде, посвящённом Бродскому, в питерском музее Анны Ахматовой, подарил с неслучайной, существенной надписью: “Иосифу Бродскому с нежностью и отчаянием. Книгу, совершенно чуждую ему”. Видимо, я тогда угадал, что “русскость” моей книги будет чужда ему. Странно, что за годы эмиграции и скитаний по белу свету он сохранил мою книжицу и она вернулась в Россию, не затерялась в мировом пространстве и ныне находится в музее Ахматовой на Фонтанке, где есть уголок, посвящённый, по словам Ахматовой, “Рыжему”. Ахматова знала цену своим словам, когда говорила, что всяческими судебными преследованиями власть делает Рыжему биографию. С тех пор прошло более полувека, но сегодня всё высветилось: биография “Рыжему” была сделана, но сделать его “национальным русским поэтом” ни за что бы не смогла никакая власть. Но “пятиколонники” не утихают.

На днях я прочитал в журнале “Сибирские огни” статью сибирского литератора Евгения Антипова “Дума о Бродском или “Письмо с фронта”. Цитирую: “*Всякий уважающий себя поэт испытал благотворное влияние (воздействие, яркое впечатление) от поэзии Бродского. Всё это испытал в своё время и я. Моё “своё время” было в начале 80-х, когда за одно только имя Бродского, нечаянно произнесённое вслух, можно было получить пулю в затылок и даже “без права переписки”. Тем не менее, ещё свеженький сборник “Часть речи”, как П. Корчагин, я носил под своим прекрасным сердцем, маскируя его, сборник, под материалы не то 17-го, не то 19-го исторического пленума партии. Благодаря далеко продвинутому другу держал я в руках и самиздатовский трёхтомник, из-за которого, между прочим, сотни тысяч были расстреляны, а миллионы заживо сожжены в лагерях. Одним пальцем, чтобы не оставлять лишних отпечатков, что-то и сам из Бродского перечитывал. Вот такие дела”* (“Сибирские огни, 2008 г. №5). Ложь, как говорил Геббельс, чтобы ей поверили, “должна быть чудовищной”.

Впрочем, зачем разбираться в этом, если никто в России не знает поэта Антипова?..

* * *

Русские былины VI–VIII веков замешаны на противоборстве двух сил — язычества и христианства.

Вспомним былинку об Илье Муромце, который, недовольный приёмом, устроенным ему князем Владимиром Красное Солнышко, в гневе покидает Киев и, обернувшись, сбивает калёными стрелами церковные маковки.

А былина о Ваське Буслаеве, который “не верил ни в сон, ни в чох, а только лишь в червлёный вяз”...

Да и гибель его — попытался прыгнуть через череп Адама, но поскользнулся и разбился насмерть — случилась от молодого кощунства.

Дерзость, молодость, бахвальство молодого русского этноса — чем восхищался Пушкин и о чём размышлял Чаадаев! Пушкинский Вещий Олег погибает той же смертью от избытка воли и своеволия, что и Васька Буслаев, только Васька наступил на череп Адама, а Вещий Олег — на “благородные кости” своего коня. И тот, и другой погибли согласно русской пословице, утверждающей, что “на миру и смерть красна”.

А смерть “сверхбогатыря” Святогора? Он в ощущении своего могущества и в припадке гордыни лёг в гроб и приказал Илье Муромцу закрыть его крышкой, которая тут же приросла к гробу. А когда Илья стал рубить крышку мечом, при каждом ударе домовина “опоясывалась стальной полосой”.

Так русский ещё языческий народ, ещё до принятия христианства понимал, что гордыня — это смертный грех и что Высшая воля сильнее любой человеческой силы.

* * *

Идеал и жизнь, как правило, не совпадают друг с другом. Иногда случается, что самый прекрасный идеал рядом с жизнью выглядит смешным, а то и просто враждебным ей. В книге одного критика мне запомнилось одно интересное размышление: *“В Цетинье сохранились и турецкие мечети, и православные церкви, и католические костёлы, и синагоги. Несмотря на кровавую борьбу с турками, черногорцы не мстительны, с пониманием и широтой относятся к иноверцам, к иностранцам вообще...”*

Вроде бы и похвалил черногорцев, но вот что вышло потом. Вскоре и я побывал в Черногории. Однажды на каком-то дружеском вечере черногорские поэты разоткровенничались и спросили меня:

— А ты читал “Югославский дневник” Владимира Огнева?

— Читал. Даже с собой в дорогу взял.

— Так передай, пожалуйста, автору, что мы, черногорцы, всю нашу историю — несколько столетий — воевали. Торговать нам было некогда. Поэтому еврейские купцы у нас не жили, а значит, ни одной синагоги в Цетинье нет. А какие мечети могли у нас построить турки, когда они ни одного дня не владели городом? Когда лишь турецкие головы, которые наши предки привозили с полей сражений и ставили на крепостные стены, могли в упор разглядывать нашу столицу? Так что в Цетинье стояли только православные церкви! Не надо приукрашивать нас. Пусть уж останемся, какие есть...

Вспомним стихотворение Пушкина о черногорцах, не сдающихся наполеоновским псам войны.

*Черногорцы? что такое? —
Бонапарте спросил. —
Правда ль: это племя злое
Не боится наших сил?*

Однако со временем даже самые сильные, самые гордые народы и племена слабеют, соблазняются “европейскими ценностями”, теряют настоящую волю к жизни. Вот так сербы после натовских бомбёжек 1999 года и обещаний взять балканских славян в европейскую семью сдали в Гаагский трибунал своих национальных героев генерала Радко Младича, последнего президента Югославии Слободана Милошевича, вождя краинских сербов Радована Караджича.

А черногорцы купились на посулы и соблазны европейской жизни, сначала выбрали своим президентом некоего функционера Джукановича, своеобразного черногорского Ельцина, а потом побежали, как овцы на бойню, в НАТО.

В финале документального фильма об этой балканской трагедии старик-черногорец стоит над могилой своего внука, убитого при натовской бомбёжке, и бормочет: “НАТО — убийцы”. А рядом с кладбищем — разбитые крестьянские дома и старухи, сидящие среди развалин.

И черногорцы, и сербы получили в результате ту историю, о которой Черчилль сказал применительно к британцам, сдавшим в 1938 году Чехословакию Гитлеру:

— Мы хотели, заключив позорный договор с Гитлером, избежать войны, а получили и позор, и войну одновременно.

* * *

Русские — молодой народ, у которого ещё остались патриархальные родственные связи, позволяющие обратиться к незнакомому человеку со словами “отец” или “мать”, если эти люди старше тебя, со словами “сын” и “дочка”, если они младше, со словами “брат”, “браток” — к ровесникам или “сестра”, “сестричка” — к ровеснице. Да и к незнакомой старенькой женщине обраще-

ние “бабуся” будет звучать у нас естественно, так же как слова “дед”, “де-док”... Правда, оттенки при такого рода обращениях могут быть разными:

– Да пошёл бы ты, отец (или “батя”), куда подальше!

Находясь в подобном настроении, я как-то написал, проходя осенней сырой ночью через всю мою Калугу:

*И довелось родиться мне
В такой стране великой...
Поляны пахли по весне
Смолой и земляникой.
Но эта ночь и этот дождь —
Не вскрикнешь, не ответишь,
Во тьме полгорода пройдёшь
И никого не встретишь.
А если кто и подошёл —
Ощупай трезвым взглядом:
Что хочет он — пырнуть ножом
Или назваться братом?..*

* * *

Наш калужский двор на стыке улиц Пушкинской и Циолковского состоял из двух домов. Один загибался буквой “Г” в обе улицы, а другой замыкал продолжение двора по улице Циолковского — нижний этаж у обоих домов был каменным, а верхний — деревянным. И в тот, и в другой дом на второй этаж вели внешние деревянные скрипучие лестницы. Ещё одной стороной двора был длинный общественный сарай, в котором жильцы держали дрова, каменный уголь и всяческую ненужную хурду-мурду, которую было жалко выкинуть на помойку.

Сарай был сколочен из тёмного горбыля, каждый его отсек закрывался тяжёлыми воротами с подтёками жёлтой смолы, а в углу двора стоял обширный деревянный сортир, куда бегали жильцы обоих домов.

На дворе стояли столбы, на которых были натянуты верёвки, а на верёвках всегда сушилось разноцветное бельё, придававшее нашему двору какой-то праздничный вид.

Несмотря на все сложности быта, двор не унывал и по вечерам оглашался песнями, вылетающими из открытых настежь окон и с первых, и со вторых этажей.

Из окон первого этажа, почти вросшего в землю, где жили два брата Женька и Володька, всегда несло что-то блатное: “Три гудочка прогудело, // все на работу бегут, // а легавые в то время // на облаву идут”. Или “Есть в саду рестораник приличный, // только Ляльке там скучно одной, // подошёл паренёк симпатичный — // кепка набок и зуб золотой”.

Из квартиры, где жила тётя Нюра с двумя детьми-подростками Авой и Толиком, доносились песни другого, НЭПовского репертуара — “Рио-Рита” или песня креолки (“А обманешь, так знай: у креолки // ногти острые, словно иголки, // и расправа моя будет краткой — // пусть креолку целует другой!”). Ну, конечно не обходилось и без Утёсова: “С тобою встретился на школьной вечеринке, // картину ставили тогда “Багдадский вор”, // глазёнки карие и жёлтые ботиночки // зажгли в душе моей пылающий костёр”... А в застольях пели и “Катюшу”, и “Синий платочек”, и “Тёмную ночь”...

За общественным сараем, который был одной из неприступных сторон нашего двора, простирался громадный общественный огород соток на 50, где на каждую семью отводились две-три грядки. В дальнем углу огорода был вырыт пруд, в котором скапливались вешние и летние дождевые воды, необходимые для полива грядок. В этом пруду мы пускали игрушечные кораблики с парусами, которые, подгоняемые ветром, пересекали пространство пруда. К огороду примыкала соседняя усадьба крепких хозяев Купчиковых, сбежавших в город после раскулачивания, — мать, два сына и дочь. В их саду росли сортовые яблони, на которые мы смотрели с вожделием, но что делать, если их охраняли две лохматых громадных собаки! Да и Колька Купчиков зорко следил за своим садом, ночью в шалаше посреди яблонь.

Особое место в мире нашего двора занимала голубятня, возвышающаяся над сараем. Голубятней владела семья Жуковых — два брата и чахоточная их сестра Валентина. Третий брат — старший — был легендарным вором и сидел где-то в Сибири. О нём не принято было вспоминать. О нём лишь шептались. Да и песни, которые вылетали иногда из низеньких окон жуковской квартиры, были как бы о нём:

*Вот он идёт
В прохарях и в тельняшке морской,
В кепке набок и зуб золотой —
Всем известный Серёжа.*

Но жуковские голуби-сизари были украшением и гордостью нашей неприглядной жизни. Они, подчиняясь воле хозяина, открывавшего решётчатую дверь голубятни, вылетали в мир, в солнечную высь, кружились над нашим двором, соблазняли голубок из голубятен, находившихся в соседних кварталах, и в сопровождении этих добровольных пленниц возвращались к своей голубятне, в хозяйские руки братьев Жуковых.

* * *

Бабка пила чай с баранками, которые я привозил ей из Москвы, и с постным сахаром вприкуску только из самовара, для которого я собирал в бору сосновые шишки. Несмотря на свои 60 с лишним лет, она тащила на ремне через плечо к Оке корзину с бельём — полоскать. На колонках возиться с бельём было неудобно, да и не разрешалось. Ручей от воды, льющейся из колонки, сбегал по неглубоким канавам вниз к Оке, и зелёная полоска молодой травы показывала бег этого искусственного ручейка с самого начала улицы Циолковского до речного берега.

По этому склону, называемому Балашовкой, зимой мы со свистом скатывались кто на санках, кто на самокатах, сооружённых из досок с тремя коньками: два — сзади, крепко привинченных к доске, и один — впереди, прикреплённый к подвижному рулю. Склон дороги был всегда обледеневшим от воды, бегущей вниз из колонки. Я не был в оккупации, но когда в 1943 году мы вернулись из костромского села Пыщуг в Калугу, то ребята рассказывали мне, что зимой 1941 года, когда наши войска выбили немцев из города, мои 10-летние сверстники подтаскивали убитых немцев к колонке, обливали их водой на 40-градусном морозе и, когда трупы обледеневали, их связывали по двое или по трое и садили на них, кто как умел, разгоняли этот страшный кортеж, прыгали на него на ходу и со свистом мчались по крутой улице имени Циолковского чуть ли не до самой Оки. Впоследствии я написал об этом такие стихи:

*Немцы уходят из города,
Стынет декабрьское солнце,
И вот уже звонко от хохота
И под гору мы несёмся
На санках, на самокатах,
А тот, кто из самых смелых, —
На немецких солдатах,
Как древо, заледенелых.*

Я написал эти стихи в 1959 году, и так случилось, что пришёл в гости к Борису Слуцкому, когда у него был драматург Александр Володин. Слуцкий попросил меня прочитать несколько стихотворений, я прочитал, и среди них — стихотворение о том, как мои калужские друзья катались с горы на немецких трупах. Слуцкий был чрезвычайно доволен, ликовал, а Володину стало плохо.

Знаменитая колонка, откуда я таскал вёдра воды домой, стояла возле дома, где жили мои приятели Чахловы — Александр и Валентин, по-уличному — Валет. Это была крестьянская семья, после коллективизации сбежавшая в Калугу. Каким-то образом они срубили себе деревянную избу, к которой

примыкал довольно большой огород — соток 20. Отца у них мобилизовали в первые дни войны, осталось их четверо — два подростка, их мать тётя Варя и её сестра. Жили своим огородом да коровой, которую успели завести перед войной. А тётя Варя подрабатывала тем, что возила с хлебозавода в магазины хлеб в громадной корзине, прикрепленной к основе с двумя колёсами.

Когда она поздно вечером приезжала домой, мы сразу бросались к корзине, в которой всегда находили несколько корочек, отломившихся от горячих хлебных буханок.

За её сестрой Машей ухаживал демобилизованный по тяжёлому ранению молодой моряк с наколкой на груди:

*Любовь — это бурное море,
Любовь — это злой ураган,
Любовь — это вечное горе,
Любовь — это ложь и обман.*

Моряк иногда уводил тётю Машу на танцы в парк культуры или на танц-площадку Центрального кинотеатра, где танцевали и в кирзовых сапогах, и даже в валенках.

* * *

Утром в больничной столовой рядом со мной за обеденный пластмассовый столик сел крепко сбитый, почти квадратный человек, плечи и грудь которого были покрыты седой жёсткой, как будто бы кабаньей, шерстью. Схожесть с кабаном ему придавали маленькие глазки и могучие предплечья, на них были изображены искусным татуировщиком то ли букеты цветов, то ли заросли неведомых мне растений, из которых высовывались полуптичьи, полужверинные, получеловечьи морды существ, подобных химерам, украшающим Собор Парижской Богоматери. Короткая седая стрижка, чуть-чуть свалывшаяся на загривке, усугубляла родство этого человека со зверем.

Отстояв свою очередь к кухонному окну, мы взяли у поварихи Нины по тарелке овсяной каши, по кружке чая, по пластмассовой баночке йогурта и сели друг против друга за тесный столик. И тут с близкого расстояния я разглядел на его могучих бицепсах какие-то слова, которые от постоянного движения рук шевелились, что мешало мне быстро и незаметно прочитать их. А спрашивать у этого кентавра, что у него там выколото, было неудобно. Да и, честно говоря, я не особенно верил, что он ответит мне на человеческом языке. Хрюкнет что-нибудь — и все дела.

Однако, когда его кто-то из толпящихся в столовой бедолаг окликнул, и мой человекообразный сосед повернулся на окрик вполоборота, я успел схватить глазами три слова на его предплечье и с удивлением понял, что эти слова немецкие и к тому же известные всему цивилизованному миру — “Jedem das Seine”, — что означает в переводе на русский “Каждому своё”, и возникли они как заповедь для всех несчастных, попавших в годы Второй мировой войны в Дахау или Освенцим... Открыв от изумления рот, я попытался было спросить у вепря, знает ли он смысл этой надписи, но язык мой присох к нёбу. А мой Вепрь опрокинул за один раз кружку кефира в глотку, встал и коренастой раскачивающейся походкой на двух ногах пошёл к выходу. На нём были шорты, которые чуть было не лопались по швам от этой походки, а на мясистых икрах я вдруг увидел ещё какие-то слова, тоже изображённые чуть ли не готическими буквами. Я рванулся за ним и догнал его в коридоре:

— Скажите, пожалуйста, — заикаясь от волнения, произнёс я. — А что у Вас написано на ногах?

Он повернулся ко мне всем торсом, поскольку у него не было шеи, а голова сидела прямо на плечах, и бесстрастно по слогам произнёс:

— Арбайт демахтен фрахт!

— Работа освобождает! — образованно произнёс я.

— Вот именно! — холодно ответил он и ускорил шаг, явно показывая, что нам с ним больше говорить не о чем, и захлопнул дверь в свою палату прямо перед моим носом.

Больница. Толпы старух в разноцветных халатах, в пижамах и даже в ночных рубашках.

Старуха, похожая на старика, — курчавая шапка седых волос, круглое скуластое лицо, нос, словно неочищенная картофелина, короткие крепкие руки, хриплый голос, коренастая, как медведица, ставшая на задние лапы.

— Да зачем Вы врачам букеты цветов покупаете? Всё равно они их завтра на помойку выбросят. Я вот своей врачихе, если сама захочу, сниму с руки кольцо с бриллиантом и подарю. Ох, как моя родня, сын и дочь, раскритчатся, если увидят, что нет кольца! Они только и ждут, чтобы я померла и оставила им квартиру да эти кольца! Они завтра за мной приедут домой забирать, мне ведь 91 год! А я им говорю: “Не приезжайте, я сама выйду из больницы и на автобусе до дома доеду. С работы отпрашиваются, чтобы продемонстрировать, как они заботятся обо мне”.

Её тихая собеседница и соседка по палате увещевает лихую старуху:

— А ты думай о позитиве. Всё тогда будет хорошо. Аура должна быть положительной. — Но Медведица не понимает:

— Я зарядку сегодня ночью делала. Проснулась — спать не могу. Я мостик стала делать на кровати.

Но тихая собеседница гнёт своё:

— А ты думай о позитиве!

Однако девяностолетнюю бунтовщицу унять невозможно:

— Мне они хотели какой-то прибор поставить, чтобы со мной разговаривать из своей квартиры! А если я не хочу разговаривать, зачем они ко мне лезут?

— Да ты думай о позитиве! — на что следует неожиданный вопрос:

— А ты замужем была?

— Была.

— А муж у тебя был хороший?

Тихая собеседница молчит, улыбается.

— А у меня был избалованный ребёнок, а не муж!

— А ты думай о позитиве!

Слушаю и невольно вспоминаю стихотворение Бориса Слуцкого о харьковской коммунальной жизни в 30-е годы:

*Старух было много, стариков было мало:
то, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм выходной, суконный,
покупали гроб дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой.*

Рядом с моей палатой была палата для женщин, у нас была одна прихожая и один туалет, куда мне нужно было заглянуть после обеда. Открыв дверь туалета, я увидел старушку, сидящую на унитазах. Она ничуть не смутилась, закрыла дверь и вскоре заглянула в мою палату со словами: “Ну, иди, дедушка”.

А моя 90-летняя с головой, на которой словно бы надета седая барашковая шапка мехом наружу, несёт из кухни на свой стол тарелку с кашей, пальцы толстые, бицепсы по-мужски крепкие, на плечах — ни одной морщинки, ни одной старушечьей складки... Смотрю на пальцы, крепко схватившие кружку с кефиром, и вижу, действительно, на пальцах несколько колец, а одно — с бриллиантом. Господь, видимо, лепил из этого куска глины мужчину, но в последнее мгновение отвлёкся. Идёт, переваливаясь, медвежьей походкой, без палочки, в мужских штанах и матроска полосатая на торсе. Словом, похожа на какого-нибудь каторжника Айртон из жюльерновского романа “Пятнадцатилетний капитан”.

Среди “божьих одуванчиков”,двигающихся, как толпа пингинов с кружками, тарелками, ложками, моя 90-летняя выделяется, словно крепкий белый гриб-боровик; кричит, командует, распоряжается:

– Девочки! В очередь! – и девочки, одни – как мешки с арбузами, другие – как полупрозрачные шуршащие целлофановые пакеты, послушно выстраиваются к кухонному окну. Большинство в застиранных ситцевых или фланелевых халатах, но есть и в шёлковых с поясами. А две старушонки вообще пришли в ночных рубашках, светящихся насквозь. Все выстраиваются в очередь с кружками, а мне всё кажется, что каждая из них держит драхму, чтобы передать Харону; многие – с наклеенными наискосок на один глаз белыми полосками марли, а кто-то и на инвалидных колясках, и все – с лицами, измождёнными страхом вечной слепоты.

Поглядишь на них и поймёшь, что в древнем мире таких убогих, особенно слепых, было гораздо больше. Христос не мог пройти мимо них, и большинство рассказов из Евангелия – это сцены, где он встречается с немощными, расслабленными (то есть с парализованными), бесноватыми, увечными и слепыми.

– Пралик тебя разбери! – кричала моя бабка Дарья Захарьевна, и с детских лет я знал, что “пралик” – это паралич. Бабка была глухой и запомнила слово “паралич” на слух, как “пралик”, отчего оно стало ещё более страшным, как будто “пралик” – это какое-нибудь существо из мира нечистой силы.

Христос знал, что именно здоровым людям надо понять, что больные и страждущие – тоже люди, и чудеса его по исцелению недужных он вершил, чтобы слух о такого рода чудесах расходился по земле, чтобы физически здоровые люди знали, что и они когда-нибудь впадут в немощь и будут мечтать о чудесах, совершённых Спасителем. Вспоминаю поразительный тургеневский рассказ “Живые мощи” – о бывшей красавице Лукерье, вставшей в немощь, или о старике из рассказа Льва Толстого, который ест дома из чашки, ест неопрятно и раздражает этим своих родных. Вспоминаю властную старуху из пушкинской “Пиковой дамы”, говорящую: “Я сама!”

* * *

Прочитал в больнице роман Прилепина “Обитель” – о жизни его героев в Соловецком лагере, о скудных пайках, о ночных встречах близких по духу людей, собиравшихся потихоньку от надсмотрщиков и уголовников всласть закусить из посылки едой, полученной от родных.

Прочитал и обнаружил днём, что не доел больничную похлёбку, и понял, что это нехорошо. И как-то само собой получилось, что чуть ли не стал хлебной корочкой вылизывать остатки еды с тарелки. В Соловках недоедков в мисках не оставляли и дорожили каждым кусочком хлеба, и смаковали его, и делились им с близкими друзьями, как чем-то заветным.

Кроме того, я так вжился в главного героя Артёма, который каким-то врождённым инстинктом мог ладить с самыми разными людьми и понимать их: и чеченцев, и уголовников, и священников, и голь перекатную, и аристократов, – и к своему удивлению понял, что я веду себя точно так же и приспособливаюсь и к врачам совершенно разным, и к медсёстрам, и к санитаркам, и к уборщицам, и к сестре-хозяйке, которая до положенного срока меняет нам постельное бельё, и поварихе могу так улыбнуться, что кладёт мне лишние полповарёшки разваристой гречки.

Вот что значит прочитать повесть писателя, хорошо знающего жизнь.

* * *

Фёдор Михайлович Достоевский в романе “Подросток” вспоминал о “священных камнях Европы” и о “золотых потускневших” людях Запада. Это было в середине XIX века. Юрий Кузнецов в одном из своих хрестоматийных стихотворений до конца раскрутил мысль Достоевского о привязанности русской интеллигенции к Европе:

*Нам чужая душа — не потёмки
И не блеск Елисейских полей.
Нам едино, что скажут потомки
Золотых потускневших людей.*

*Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни,
Кроме нас, не оплачет никто.*

Арнольд Шпенглер в начале XX века сочинил знаменитую книгу “Закат Европы”, в которой поставил западному миру роковой диагноз, что он при смерти.

Однако пассионарии Запада не согласились со Шпенглером и дважды встряхнули мировую историю, пытаясь восстановить своё средневековое величие: устроили Первую, а потом и Вторую мировую войну.

Но после этих двух преступлений мирового масштаба дети Европы выдохлись и, окунувшись в общество потребления, начали с наслаждением разлагаться и духовно, и телесно, дойдя до крайних степеней вырождения. 14 октября 2014 года центральное телевидение России сообщило о том, что министр сельского хозяйства Дании обратился в парламент с просьбой принять закон, запрещающий скотоложество, ибо у животного невозможно получить согласие на половой акт со стороны человека. В телеинформации было добавлено, что в Данию гурьбой едут туристы и туристки, соблазнённые сексуальной тягой к парно- и непарнокопытным. К XXI веку Европа перепробовала всё: и педерастию, и однополые браки, и педофилию, и кровосмешение, не хватало только блюд с коровами, козами, собаками и жеребцами. Такого даже в Содоме не было. Слава Богу, что Юрий Кузнецов не дожил до этих игрищ.

* * *

В 1984 году я опубликовал в “Нашем современнике” статью “Что тебе поют?”, где убедительно доказал, что фанатичные поклонники Высоцкого, устраивая сборища возле его могилы, затоптали находившуюся рядом могилу майора Петрова. У меня были фотографии затоптанной могилы и во время её существования, и фотография этого места после её исчезновения. Тем не менее, журнал “Юность” обвинил меня в клевете, в зависти к Высоцкому, и даже в том, что чуть ли не я сам устроил инсценировку с могилой майора Петрова. История эта имела весьма драматическое продолжение. Мой сокурник по филфаку и соперник по литературной жизни критик Станислав Рассадин глумливо повторил в той же “Юности”, что я выдумал могилу майора Петрова. Шёл 1992 год, когда мы, патриоты, уже были отрезаны от самых многотиражных газет, от телевидения, и надо было искать эффективные и необычные формы сопротивления. Я написал в газету “Московский литератор” письмо, в котором потребовал от Рассадина извинений, в противном случае пообещал смыть оскорбление пощёчиной. Он не извинился...

Через полгода я встретил клеветника у писательской поликлиники. Он шёл мне навстречу. С упавшим сердцем я понял, что нужно исполнять обещанное, что другого случая не представится, и, когда мы поравнялись, моя ладонь звучно легла на его ланиту. Он отпрыгнул, как толстый кот, заверещал, зашипел на всю улицу нечто нечленораздельное, но было уже поздно. Возмездие совершилось. Я, чтобы поделиться опытом, как надо наказывать клеветников (а в то время оскорбления сыпались на нас с разных сторон), опубликовал информацию о приговоре, приведённом в исполнение, в газете “День” и вскоре получил из Ясной Поляны от читателя Сергея Романова письмо: “Я не поклонник Вашего поэтического таланта, но я в восторге от Вашей гусарской пощёчины. Желаю Вам здоровья и мужества”. А ведь когда-то на филологическом факультете МГУ мы бегали со Станиславом Рассадиным в одной легкоатлетической эстафете четыре по сто метров.

Дабы русофобам было неповадно оскорблять русских поэтов где и когда попало, я опубликовал в прохановской газете “День” заметку о том, что приговор приведён в исполнение – пощёчина состоялась.

Александр Проханов, со свойственным ему остроумием придумал для моего материала заголовок: “Стас уполномочен заявить”.

Так я и назвал свою новую книгу, которая вышла в свет к моему 70-летию.

* * *

Чуть ли не сорок лет тому назад судьба свела меня с выпускником ВГИКа, ставшим послушником Псково-Печорского монастыря Георгием Шевкуновым – ныне архимандритом Сретенского монастыря отцом Тихоном и епископом Егорьевским.

Потом многие годы подряд мы встречались с ним в кругу наших близких единомышленников-художников Искры Бочковой и Алексея Артемьева, во время великого праздника – переноса мощей святого Серафима в Дивеево, а потом были встречи на единственной православной телестудии “Русский Дом” у Александра Крутова...

Он и крестил меня, и венчал с моей женой Галиной, надеюсь и верю, что и грехи мои отпустит мне, когда Господу это станет угодно... Отец Тихон открыл мне и многим русским людям тайны величия и падения Византии, после фильма о судьбе которой ненависть к нему, если судить по воплям либералов, выступающих на “Эхе Москвы”, стала беспредельной. Достигнув необходимой духовной зрелости, он написал изумительную книгу “Несвятые святые”, многие главы которой публиковались в журнале “Наш современник”.

Трудны и непостижимы пути Православия в России XX века! Но когда я читаю главы этой книги о Великом наместнике, об отце Гаврииле, об отце Иоанне и других столпах Печорского монастыря, душа замирает от постижения страданий и гонений, которые они пережили, и одновременно восхищается величием подвига многих подвижников Печорской обители.

* * *

Что такое объявленная властью “десталинизация” жизни? Это не просто лживый доклад Хрущёва на XX съезде, не просто вынос праха из мавзолея и переименования Сталинграда в Волгоград. Это разрушение, осмеяние, опозление всего, что было создано народом в сталинскую эпоху. Это развал государства, разорение сталинской индустрии, уничтожение сталинской коллективизации. Сорок процентов пахотных земель уничтожено, заросло кустарником и лесом. Это уничтожение лесозащитных полос – великого проекта конца 40-х годов прошлого века.

Это разрушение не просто ГУЛага, а почти всех основных отраслей жизни, в которую был вложен труд нескольких поколений, это ликвидация всех городских благ на селе – библиотек, больниц, детских садов, домов культуры и клубов, почтовых отделений, машинно-тракторных станций, сети торговых предприятий, закрытие многих школ и так далее.

... Это разрушение всего, что “нерентабельно”. Но ведь нерентабельна и жизнь человеческая, поскольку она кончается смертью. И потому “нерентабельны” судьбы Ельцина, Гайдара, Грачёва – временщиков истории.

Нынешние российские историки еврейского происхождения часто негодуют по поводу того, что во время войны советская пропаганда хранила молчание о еврейских потерях: *“Советские авторы постоянно скрывали, что евреев убивали только за то, что они евреи”* (энциклопедия “Холокост”, М., “Росспэн”. 2005. С. 450).

Но это негодование является циничной спекуляцией нового времени. Население Советского Союза во время войны состояло из более чем двадцати крупных этносов, не говоря уж о сотне малых народностей и племён. Дети всех этих национальных образований проливали кровь на полях сражений. И пока шла война, выделять чьи-либо жертвы как имеющие особую цену было самоубийственным делом. Единственно возможным залогом нашей победы было сплочение всех племён и народов в одно понятие “советский народ”. И это суровое условие не позволяло выделить жертвы и потери “избранного народа”.

Вспомним, что лишь после победы Иосиф Сталин смог позволить себе произнести тост “за здоровье русского народа”, внесшего наибольший вклад в нашу общую победу. Да и то вспоминается, как Александр Чаковский выговаривал мне, что вот, мол, Сталин поблагодарил “русского Ивана”, а “еврейскому Абраму” подобная благодарность не досталась. Однако Чаковский забыл, что через 3 года после знаменитого тоста за русский народ по воле

того же Сталина весь восточно-европейский советский блок проголосовал за создание государства Израиль. Это был поистине царский или даже императорский подарок “несчастному Абраму”: ему подарили не хвалебные слова, а государство, и по сравнению с этим подарком всемирно-исторического масштаба всяческие проходившие в ту же эпоху кампании против “космополитизма” или “дело врачей” были мелкими, ничтожными событиями внутриполитической жизни.

И недаром даже после этих “антисемитских кампаний” портреты “усатого тирана”, как главнейшего отца-основателя государства Израиль, многие десятилетия висели в израильских кибуцах...

Так что крики о необходимости полной десталинизации нашей жизни одновременно есть посягательство на легитимность Израила, созданного по воле Сталина.

* * *

В начале шестидесятых годов в московских либеральных кругах ходила по рукам и пользовалась большой популярностью рукописная книга историка Роя Медведева “К суду истории” – о Сталине и сталинизме. Она до сих пор стоит в моей библиотеке – толстый том с пожелтевшими машинописными страницами в кустарной дерматиновой обложке. Книга не выделялась ни глубиной анализа эпохи, ни объективностью, ни фактологическим материалом – она была обычным диссидентским антисталинским сочинением, весьма поверхностным, а порой и просто искажавшим историю. Подобных сочинений в те годы было написано немало, особенно людьми, которых так или иначе коснулись репрессии 30-х годов. Вспомним хотя бы книги Антонова-Евсеенко, Аксёнова, Икрамова, Юрия Трифонова... Жажда взять у тени великого вождя реванш, хотя бы задним числом, толкала “детей XX съезда” в объятия антисталинской хрущёвской пропаганды, к вольной или невольной подтасовке фактов, к опоре на слухи, мифы и всяческие недобросовестные источники. Большинство этих сочинений были столь же исторически некорректны и даже абсурдны, как и доклад Хрущёва на XX съезде КПСС. Но вот прошло с той поры более 40 лет, и братья Медведевы издали в 2001 году книгу “Неизвестный Сталин”...

Читаю ее – и глазам своим не верю... **“Действительно, глубокое понимание эпохи Сталина и его роли в мировой истории только начинается”.**

“Сталин был не только вождём, диктатором и тираном. За внешней оболочкой культа личности жестокого деспота существовал и обычный человек, думающий, размышлявший, имевший огромную волю, большое трудолюбие и немалый интеллект. Он был также несомненно патриотом исторической российской государственности”...

“Для таких людей, как Ленин и Сталин, невозможно определить, сыграли ли они в судьбе человечества отрицательную или положительную роль. Они сыграли историческую роль. Советский Союз не был аномалией исторического развития. Это был шаг вперёд из того тупика, в который завела мир Первая мировая война”.

Вот как, почти на 180 градусов изменились исторические оценки бывших крутых диссидентов, сыновей бригадного комиссара Медведева, погибшего в 1941 году на Колыме... Жизнь, как говорится, учит.

А сколько в книге “Неизвестный Сталин” частных выводов, противоречащих расхожим антисталинским байкам и анекдотам, которыми питались умы либералов-шестидесятников: **“Выступление Сталина по вопросам языкознания имело в целом положительное значение”, “Политическую недальновидность при разработке первой Конституции Союза проявил Ленин, а не Сталин”, и даже: “Следует признать, что как редактор Сталин не только улучшил доклад Лысенко, сделав его формулировки менее резкими и менее антизападными, но и устранил принципиально ошибочное деление наук на советские и буржуазные...”**

Вот какая эволюция в сторону здравого смысла произошла с тех пор с братьями Медведевыми. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Случай весьма поучительный, особенно на фоне сочинений о Сталине Волкогонова, Радзинского, Александра Яковлева и прочих якобы “историков”.

1951 год. Я поступил в Московский Авиационный институт на факультет приборостроения. Поступил лишь потому, что там учился мой двоюродный брат, лётчик, вернувшийся с фронта и не сразу нашедший себя в первые послевоенные годы. До поступления в МАИ он жил спортом – бегал длинные дистанции, ходил на лыжах, играл в волейбол. Так и прошла его послевоенная молодость. Но у него хватило ума воспользоваться льготами, которые были у участников войны. Он, учившийся на 4-м курсе, и уговорил меня: “МАИ! Лучший вуз страны!”

Но я всё это пишу для того, чтобы вспомнить, как зимой 1951 года я, студент МАИ, случайно попал в зал Чайковского на концерт уже широко известного в то время Александра Вертинского...

Зал был полон. Вертинский вышел из-за кулис, и зал встал. В основном в зале были женщины, молодость которых совпала со славой Вертинского, ставшего знаменитым в годы Серебряного века и Первой мировой войны.

Он вышел в чёрном костюме, высокий, статный, с большими залысинами, познакомил зрителей со своим аккомпаниатором:

– Брехес! – по слухам, Вертинский вывез его из Японии...

После первого же номера “Что за ветер в степи молдаванской” Вертинский полностью овладел залом.

А когда спел свой шедевр “Жёлтый ангел”, аплодисменты не стихали несколько минут.

В начале 60-х годов прошлого века были живы ещё многие фигуры из до-революционной эпохи, с которыми мне пришлось познакомиться и встречаться, и вести разговоры.

Из футуристов я знал Николая Асеева и Алексея Кручёных, из имажинистов встречался с Матвеем Ройзманом, даже с акмеистом Михаилом Зенкевичем жил в одном номере в Тбилиси во время какого-то писательского сборища.

Работал составителем альманаха “День поэзии”, приезжал на квартиры к Илье Эренбургу и Самуилу Маршаку, Виктору Шкловскому и Валентину Катаеву, в 1960–1963 годах ездил в Псков к Надежде Яковлевне Мандельштам, а однажды мне довелось встретиться и с главной героиней моих нынешних размышлений о Серебряном веке, мода на которую в годы “оттепели” стала хорошим тоном. Помню, как мне, работавшему тогда в журнале “Знамя”, было велено моим прямым начальником Борисом Леонтьевичем Сучковым взять у неё стихи для публикации в журнале, что я и сделал. Ахматова приехала в Москву и остановилась на Садово-Каретной в квартире у своей почитательницы Ники Глен, куда я должен был привезти вёрстку её стихов, чтобы она расписалась на ней. Для храбрости я взял с собой на эту встречу своего молодого красивого друга – поэта Анатолия Передреева.

... Мы вошли в коридор громадной московской коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, заставленной тяжёлой мебелью, за столом у “неумытого окна” сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать вёрстку с набором своих стихотворений – одно из них чрезвычайно нравилось мне:

*Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан-кирасир!*

Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что аудиенция закончена. Я напоследок задал ей два-три вопроса, что-то о Серебряном веке, на которые она ответила кратко, но убедительно. Впоследствии я узнал, что эти ответы у неё “отработаны”, и она каждый раз повторяет их дословно. Тогда не было слова “пиар”, но этим приёмом Ахматова владела в совершенстве и всегда производила нужное для себя впечатление.

Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми своими пружинами, и хотел сказать “до свидания”, как мой молчаливый друг, по-моему, всё вре-

мя дремавший в углу, вдруг, к моему ужасу, произнёс с обезоруживающей непосредственностью:

— Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи читаете... Прочитайте нам что-нибудь своё любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы вглядываясь в представителя “младого и незнакомого племени”, но вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку дешёвого проигрывателя, поставила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загромождённой пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала медленная, торжественная речь:

*Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: “Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда”.*

.....
*Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.*

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова с молчаливым вопросом поглядела на нас, но её молчаливое осуждение прошло мимо цели: Передреев безмятежно дремал в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и ужаса, я разбудил его ударом локтя в бок.

Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывалились в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную жизнь Садового кольца...

Я с негодованием набросился на друга:

— Ну что — получил? Послушал “что-нибудь любимое”? — Но ему всё было как с гуся вода:

— Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь вспомним!
Вот и вспомнилось...

* * *

22 августа 2012 года на радиостанции “Эхо Москвы” в рубрике “Особое мнение” выступал бывший председатель Союза журналистов Москвы некий Яковенко. Болтал он много чего пустякового и ничёмого, но вдруг словно с цепи сорвался: “Путину место рядом со Сталиным и Гитлером. Он, как и они, верит только в насилие”.

Не хочу и не буду спорить с этим больным провокатором, потому что меня занимает вопрос не менее важный: почему радиостанцию “Эхо Москвы”, открыто поддерживающую все разрушительные силы 5-й колонны, направленные на слом нынешнего государства, это же самое государство щедро финансирует из своего бюджета? Так же, впрочем, как и телеканал “Дождь” (30,6 млн рублей), так же, как и газету “Московский комсомолец” (17,9 млн рублей). “Эхо Москвы” тоже получает 15 млн бюджетных денег в год.

Я думаю, и при Гитлере, и при Сталине органы печати, порочащие их как руководителей своих государств, на другой день после подобных заявлений были бы закрыты. А такие авторы, как Яковенко, были бы превращены в лагерную пыль, что в наше время немислимо.

Так что не похож, слава Богу, Путин на Гитлера, и на Сталина, к сожалению, не похож. А ещё добавлю, что не верю, будто Алексей Венедиктов, историк по образованию и выходец из энкавэдэшной семьи по происхождению, не понимает, для чего “Эхо Москвы” вбрасывает в эфир столь грязную стряпню.

* * *

Борис Немцов, баллотировавшийся в Сочи на должность мэра, проиграл выборы и заявил, что это были “не выборы, а криминальная операция”. Как будто он не был замешан в криминальных выборах 1996 года, как будто

в 1993 году он не кричал с телеэкранов 3 октября: “Давить их надо, Борис Николаевич!”. Всё происходит по евангельским законам: какой мерой вы отмерите другим, такой и вам отмерится.

И Немцову за всех “раздавленных” 3-4 октября – “отмерилось” на Московском мосту.

* * *

Все наши златоустые либеральные витии постоянно твердят, что у преступников нет национальности. Но фамилии у них есть. И телевидение последних дней твердит с утра до вечера, что некий Борис Булочник, создатель финансовой системы “Мастер-банк”, обрушил её и сбежал с награбленными деньгами – а с ним вместе жена и сын – за границу.

Пока треплют фамилию *Булочника*, обнаруживается, что очередной мошенник по фамилии *Коган* обобрал провинциальных наивных женщин и каким-то образом утащил у многих из них положенные им государством материнские капиталы.

Потом некий *Владислав Баумгертнер* был задержан в Белоруссии за аферу с продажей калийной соли.

Ну, если нашим юристам хочется доказать, что преступник не имеет национальности, то лучше бы и фамилий не сообщали или придумали бы для всяческих Булочников и Баумгертнеров какие-нибудь ничего не говорящие о национальности псевдонимы.

* * *

Красная площадь, 24 мая 2010 года. Ливень, гроза, солнце – всё сразу, но сегодня День Кирилла и Мефодия, и народу полно. Молодёжь, дети. Заключительный номер программы – наши любимые песни.

Сначала солисты и хор исполняют “Я люблю тебя, жизнь”, “Подмосковные вечера”, а потом дирижёр взмахнул палочкой, и полилась из духовых инструментов мощная волна родных звуков: “Широка страна моя родная”... Под тенором, спасающим от дождя, сидит Патриарх Кирилл, вокруг него – епископы, среди них вижу отца Тихона – и понимаю, что все они не просто присутствуют, но с чувством подпевают:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.*

Они, облачённые в церковные одежды, поют, в сущности, гимн сталинской эпохи, сочинённый Лебедевым-Кумачом и Дунаевским. И поют так вдохновенно, как будто на Красной площади не 2010 год, а какой-нибудь послевоенный 1946-й, и как будто мавзолей не закрыт полотнищем, а на нём стоит всё политбюро во главе с человеком, восстановившим патриаршество и освободившим многих священнослужителей из краёв, куда Макар телят не гоняет.

Вместе со всеми поёт и наш Патриарх, который совсем недавно жаловался на всяческие притеснения 30-х годов, которым подвергалась Церковь и его семья. А сейчас он раздурманился, глаза сверкают и молодым не по годам голосом он поёт вместе с хором, вместе с солистом, вместе со всем клиром:

*Этих лет величие и славу
Никакие годы не сотрут.
Человек у нас имеет право
На ученье, отдых и на труд.*

Чудны Твои дела, Господи! Стихийная сила хорового соборного пения сильнее личных обид и большой памяти...

*Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомянешь наших городов,
Наше слово гордое “товарищ”
Нам дороже всех красивых слов.*

А дальше — “Нет для нас ни чёрных, ни цветных”. Ну, конечно, это чуть-чуть перелицованная истина о том, что для Господа “нет ни эллина, ни иудея”.

А сколько ещё живёт в нашем языке истин, соединивших наш социализм с нашим Православием!

Советский лозунг “Кто не работает, тот не ест” повторяет евангельское “в поте лица своего будешь добывать хлеб свой”, или христианское “И последние станут первыми” лежит в основе советского: “Кто был ничем, тот станет всем”. Или слова из революционной песни “Подымется мститель суровый, // И будет он нас посильней” есть евангельская копия “но идущий за мною сильнее меня” — слова пророка Иоанна о пришествии Спасителя.

Сильнее всего связь советской истории с историей Православия возникла в годы Великой Отечественной войны — “Священная”, как она была названа с первого её дня, когда первым (раньше самого Сталина) выступил с ободряющим словом к народу патриарший местоблюститель Сергей Страгородский: 22 июня 1941 года глава Православной Церкви в России обратился к пастырям и верующим со своим посланием, разосланным в тот же день по всем приходам. В нём он благословил всех православных на защиту нашей Родины:

“Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге пред родиной и верой и выходили победителями.

Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. <...> Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путём самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизни за свою родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны <...>. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу”.

...Вся Красная площадь подпевала не столько солисту и хору, стоящим на помосте, сколько вдохновенному Патриарху с его епископатом и священниками: “Широка страна моя родная!”

Разве что не хватило духу спеть один из самых главных куплетов великого гимна:

*За столом у нас никто не лишней,
По заслугам каждый награждён,
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон.*

Но это было бы уже слишком... Меру надо знать, и так было видно, что День славянской письменности стал днём прославления нашей недавней советской истории. Да и в обществе нашем после Великой войны взгляды на “своё” и “чужое” резко изменились.

Михаил Светлов в знаменитой “Гренаде” писал в двадцатые годы:

*Я хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать...*

А Михаил Исаковский в годы Отечественной войны думал уже по-другому:

*Не нужен нам берег турецкий
И Африка нам не нужна.*

Весь XX век шла борьба сыновей России не только с прямыми завоевателями, но и с “гражданами мира”, и до сих пор она продолжается, и опять тот же Пушкин в этой борьбе помогает нам, когда говорит не о “правах человека”, а о его “самостоянье”:

*Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.*

(Продолжение следует)